

Леонид Лейдерман

Письмо в соседнее столетье, или Коханая вийде

Доброго Вам дня, шалом, реб Шолом-Алейхем, доброго Вам дня! Я пишу Вам из третьего тысячелетия и имею на это моральное право, потому что я, как и Вы, родом из второго. Там я с Вами и познакомился. Не лично с Вами, нет. Лично я – да, но не лично с Вами. Я даже не могу сказать, что я познакомился с Вашими произведениями, тоже нет. У меня в стенке, правда, стоят все шесть томов собрания Ваших сочинений, но я честно признаюсь: я начал читать эти сочинения, и мне не понравился их русский перевод. Не в обиду будь сказано переводчику. Я уверен, что он достаточно хорошо грамотен и в еврейском-идиш, и в русском языках; я не сомневаюсь также, что его выбрали как лучшего из других переводчиков. Но мои бабушка и дедушка говорили со мной на идиш, и я их понимал тоже русскими словами, но как-то не такими, как у Вашего переводчика. Может быть, потому что мои бабушка и дедушка родом из Винницкой области, а Вы – нет, и у Вас говорят немножко не так, как говорили у них. Немножко другой диалект? Может быть. Но это совсем не мешает Вам быть очень уважаемым человеком, и не только в среде евреев. У нас в Одессе одно время (долгое время) Мясоедовскую улицу называли Вашим именем – из уважения. (Это я нечаянно пытался показать Вам, как я бы переводил моих бабушку и дедушку.)

Названия улиц, нужно сказать, – не очень вечная память. Мне кажется, что они что-то вроде устойчивой разменной монеты. Названия улицам дает городская власть, а всякая городская власть живет с оглядкой на власть в государстве. А как может быть ина-

че? Иначе – это значит, что вместо этой городской власти должна прийти иная. А кому же это интересно? Никому не интересно. И теперь у нас улица Мясоедовская опять Мясоедовская. Помоему, в честь человека, дом которого был на этой улице первым. А тем, кто на этой улице жил или сейчас живет, это и не очень важно. Конечно, всегда найдется человек, который будет гордиться песней со словами «Мясоедовская, улица моя». Как были, наверное, люди, которые с гордостью подчеркивали, что они с улицы не лишь бы какой, а именно с Шолом-Алейхема. Ну и что?

Вообще-то, я должен сразу сказать, что пишу Вам как бы случайно. Ну не то чтобы совсем случайно, все у нас как будто закономерено, но все же мог бы и не писать. Если бы не конкурс. Вернее, если бы не Вика, а еще вернее – если бы не Эля.

Дело в том, что Эля, моя двоюродная внучка, или, скажем иначе, моя внучатая племянница, вышла замуж. Не сразу вышла замуж, а сначала они были вместе. Раньше сказали бы, что они состоят в гражданском браке, а сейчас это называется «быть вместе». Но потом они пошли в загс и расписались, то есть их брак, который до этой торжественной минуты признавался только гражданским сообществом, теперь был признан и государством тоже. И тогда устроили негромкую свадьбу, а на свадьбу пригласили и меня. Там я и познакомился с Викторией, мамой Элиного жениха.

Раньше говорили – браки заключаются на небесах, мол, тайна сие есть. Тайна – это то, что всегда хочется разгадать. Было время (а может, оно где-то и не кончилось), когда только родители знали эту тайну: кто будет дочери жених, а кто сыну станет женой. Но молодые сами хотели эту тайну творить, а родители, мол, пусть эту тайну разгадывают. И вот пришло время. Не сначала под венец или хупу, а потом – вместе, а наоборот, сначала вместе – присмотреться, притереться, а потом уже решать: идти в этот самый загс или, может, не идти?

Хотя недавно познакомили цивилизованное общество с древним племенем, где до сих пор – то есть по сей день! – сначала девушка решает стать матерью, потом она сочиняет для будущего ребенка его (только его!) песню, потом выбирает, кто может стать отцом будущего ребенка, и научает этого будущего отца петь песню их ребенка. Вот только тогда и рождается семья. И получается,

что не такие уж и новаторы эти наши сегодняшние молодые, если не ждут родительского выбора и тайну брака сами и творят.

Только и так бывает, что за тайной встречи следует еще одна – тайна расставания. Правда, есть такая еврейская пословица: женщина, мол, ставит дом, женщина его и рушит. Но всегда ли так? Случилось такое и с моей внучатой племянницей Элей. Были они вместе в дружбе и согласии семь лет – не маленький срок! – и расстались. И расстались тоже в дружбе и согласии. И что? Женщина за это в ответе? Может, и женщина. Бывает так, что и сами двое не могут друг другу объяснить, что же, собственно, произошло. Бабушка моя, глядя на размолвку молодых (да и не молодых тоже!), успокаивала – мол, ночь помирит. Ночь – да, она волшебница, да еще и в библейские часы. Но не всегда, не всегда. Двое – это один на двоих интим, но всегда два собственных прошлых. И в этих двух прошлых есть свои собственные тайны, уже прошедшие, ушедшие навсегда – казалось бы, навсегда... Невинные и «винные», как болезни – врожденные и приобретенные... Но если они не высказаны, эти тайны... Они как будто одним своим существованием разрешают появиться новым тайнам. Я думаю, у наших двоих согласие в отношениях было, а дружбы – дружбы не доставало. Хотя причины могут быть и там, где их и не ждут.

А с Викой, мамой вчерашнего жениха Эли, я встретился еще раз, в Интернете, и мы иногда обменивались интересными для обоих сообщениями.

Тут нужно заметить, что возраст у меня был, конечно же, глубоко пенсионный, и время мое, свободное от прежней работы, я стал отдавать литературным опытам. И здесь, многоуважаемый реб Шолом-Алейхем, я должен попросить Вас не посчитать меня нескромным за то только, что я позволил назвать свои опыты литературными. Может, это и не литература, если строго посмотреть. Но если посмотреть не очень строго? Да, литература – это сочинительство. Но вот говорят, будто Лев Николаевич Толстой как-то высказал такую уверенность, что жизнь сама будет историей сочинять, а сочинителям останется только их записать. Да, в детстве я мечтал стать писателем. Но об этой мечте я вспомнил, только когда оставил работу, которая меня кормила. Вот тогда и обнаружилось, что что бы я ни сочинял – оказывалось, что

это действительно было. Если не со мной, то с другими людьми. Конечно, строго говоря, никакое это не сочинительство. То есть не сочинительство, но все-таки литература. Такая вот несочинительская литература. И тогда можно считать, что опыты мои все же литературные. Так я сам себя убеждал. И вышла и одна книжка, и вторая, и третья. А третья вышла, как раз когда моя двоюродная внучка Эля познакомила меня с Викой, мамой своего избранника. И при этом не преминула сообщить, где можно ознакомиться с моими творениями. Вика ознакомилась и сразу стала моей читательницей. И вот пришло мне от нее сообщение – объявлен конкурс на премию имени Вас, реб Шолом-Алейхем, и что она считает, что мои замечательные рассказы вполне заслуживают этой премии. Я поблагодарил уважаемую Викторию за то, что она так считает, и задумался.

Дело в том, что я хоть только в детстве мечтал стать писателем, на самом деле всю жизнь что-нибудь сочинял – в основном стихи и заметки в стенгазету. И когда одесский крекинг-завод, на котором я имел честь работать, готовился отмечать свое двадцатипятилетие, и когда в честь юбилея был объявлен конкурс на лучшую песню, посвященную родному заводу, – я решил, что я должен попробовать. А почему нет?

Но тут нужно сказать, что когда Вы были в Одессе, реб Шолом-Алейхем, никаких нефтяных установок в ней не было и быть не могло. Завод запустили в работу в тридцать седьмом году, через двадцать лет после революции. После революции, которая начиналась еще при Вашей жизни, в пятом году, но оформилась во власть только в семнадцатом, а Вы покинули этот беспокойный мир в шестнадцатом. И в шестнадцатом, и в семнадцатом многие говорили, что революция – это большое несчастье. И эти многие были правы. Да, революции всегда приносили несчастье. Одним. А другим, наоборот, приносили счастье или надежду на счастье. Потому они и происходили время от времени, эти революции. И тогда наступали очередные новые времена.

На двадцатую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции (так называли события октября семнадцатого года), то есть в тридцать седьмом, Россию было не узнать. Правда, было и не найти многих и многих из тех, кто эту революцию

готовил, делал и защищал. (Революции пожирают своих детей – это не я сказал.) А в Одессе к этому времени было завершено строительство завода по переработке нефти. Нужно заметить, что это был особенный завод. Обыкновенный завод – что о нем можно сказать? Что там работают сто человек. Или тысяча. Или пять тысяч рабочих. А на этом заводе много чего и на земле, и под землей, а людей – не видно почти людей, очень мало людей. Уже потом на спецовках нашивочки такие были со словами «Труд людей – на плечи машин». Замахнулись тогда хорошо.

А потом была война... Вы многого не знаете, реб Шолом-Алейхем. Одесский завод эвакуировали на Восток, в город Омск, там его запустили для победы над врагом. А когда врага погнали на запад, в Одессу вернулись одесские нефтяники, кто выжил в эту страшную войну (которую, как и революцию, назвали Великой). А вместе с одесситами приехали и новые одесситы – помогать восстанавливать завод. Среди них был и опытный уже в нефтяном деле Арон Николаевич. Отца его, наверное, звали Колмэн, но, как повелось на Руси и как пелось даже в одной вполне интернациональной песне (по-армянски Ованес, а по-русски – Ваня; по-грузински он Ваню, а по-русски – тоже Ваня), отчество от Колмэна («а по-русски – Коля») было Николаевич. Колманович – есть такая фамилия, но чтобы отчество – Колманович? А фамилия у Арона Николаевича была Степурский. Может, по жене. Но это отдельная история – фамилии у современных евреев. У Вас, кстати сказать, тоже фамилия не совсем своя.

У Арона Николаевича имя-отчество длинное, а сам он – коротышка, можно сказать. Как шутят у нас, метр с кепкой. Да и телом шупленький. Но это не беда: дело свое он знал. На сме-не семь человек, он – старший. Старший оператор, так называется должность. С ним на вахте стоять было спокойно. Быстро-быстро обойдет территорию, вернется в операторную, просеменил с остановками вдоль щита с контрольными приборами – и уже стоит рядом с кем-нибудь: «Слышал новый анекдот?».

Старшие операторы, конечно, все разные. Вот Владимир Эдуардович, коренной одессит, свидетель красочной разгрузки в порту баржи с арбузами – вдоль Потемкинской лестницы, по цепочке, из рук в руки – наверх, прямо на бульвар. Когда

на установке что-то случается, Владимир Эдуардович – по-одесски мягко – восклицает: «Не может бить!» – хватает рабочий крючок для задвижек и резво выскакивает наружу. А есть и такой старший, кого и не найдешь, когда что-то случится. Появится, когда загорание там какое уже затушили, управились и без пожарников, а он: «Что тут было?». Говорили, во время войны определили его в особый военный отдел – Смерш, «Смерть шпионам». Война. Попался шпион – к стенке! А сам оплошал – так и самого к стенке могут. Вот у него, видать, страх оплошать так и не прошел.

Но бывают на заводе работы, когда и старший, и младший – все равны. Это в капитальный ремонт, раз в году. Тут нужно сразу много рук, и неважно, чьи они.

Сердце установки – громадная печь, в которой множество труб образуют гигантский змеевик – через него прокачивают сырую нефть. И чтобы этот змеевик почистить, нужно сначала открыть трубы. Мы с Ароном Николаевичем попадаем в одну пару. Он нахлобучивает на большой болт-пробку такой же большой стальной ключ с длинной ручкой, а я кувалдой сильно бью по ручке, чтобы пробку сначала сорвать с места, а потом с каждым новым ударом потихоньку отворачивать, отворачивать... Арон Николаевич, голова накрыта обычной кепочкой, после каждого поворота переставляет ключ под новый удар, и я снова взметаю свое орудие трудового успеха. И когда я в очередной раз обрушиваю кувалду на ручку ключа, деревянная рукоятка моей кувалды вдруг обламывается, сама кувалда летит – куда? – вверх, в сторону, ricochetit... Арон Николаевич спрашивает:

– Ты чего разошелся, лихач?

А мои глаза ищут кувалду – куда залетела? Так мы с ним оказались соучастниками счастливого случая...

И вот – конкурс на лучшую песню в честь двадцатипятилетия завода. Нужно попробовать! Конечно, музыку я ни написать, ни даже сочинить не мог, но понимал, что песню не декламируют. То есть хотя бы для себя – слова я должен петь... И уже есть что петь, и я уже пою (себе), и в каждом куплете последняя строка – «Факел Одесского крекинг-завода». Для меня, да и не только для меня, газовый факел над Шкодовой горой – это значит, что завод работает и что на нем все в порядке.

Подошел срок, прием заявок закончился, и тут я узнаю, что претендентов всего двое и что Арон Николаевич – мастер не только анекдоты рассказывать, но и песни сочинять. И мы опять вместе, только уже не как напарники, а как соперники.

Победил Арон Николаевич. Проигрывать еще никому не было приятно. С текстом моего старшего соперника я знаком не был и увидел его только в праздничной заводской стенгазете. Должен признаться, что не согласился с решением жюри. Моя песня мне нравилась больше. Наверное, подумал я, решили не обижать матерого нефтяника и из этих благородных мотивов покривили душой. Жалко было только, что о моей боевой песне никто не узнает.

Но я был вознагражден! К юбилею завода было заказано еще подготовить и напечатать специальный сборник, его сделали и вручили каждому работнику завода. Сборник назвали «Хозяева Шкодовой горы». И включили в него песню не Арона Николаевича, а мою. Но...

Но прошли годы, и я, давно покинув родной завод, увидел, что людям (и даже государствам!) свойственно не только прятать свои недостатки, но даже пытаться выдавать их за достоинства. Так произошло и со мной. Газовый факел, который в моей песне был символом трудовой славы, на самом деле и в Одессе, и на других заводах горел потому, что газ не умели использовать весь без остатка, и бесхозный этот остаток щедро сжигали. Было ли это известно Арону Николаевичу, я не знаю, но то, что этого мальчишеского бахвальства в его песне не было, так это точно.

Вы многого не знаете, ребе. У завода своя жизнь. Сейчас он, что называется, в коме, и никто не знает, куда он из этой комы выйдет – в реконструкцию или, не дай Бог, как сказали бы верующие, в металлолом. А что до конкурса, то он для меня был первым.

А был и второй.

Конечно, на Вашей памяти, уважаемый реб Шолом-Алейхем, большое событие в культурной жизни России, а значит, и в Украине – празднование столетия со дня рождения Пушкина.

(Вот я поймал себя на том, что написал «Пушкина» без упоминания имени-отчества. Как будто неуважительно, как будто западнибратство нескромное. Да нет, просто лишнее это. Просто – кто ж не знает? Заметьте: это я не просто так написал.)

На Вашей памяти столетие, а на моей – уже двухсотлетие со дня его рождения. Двухсотлетие! Это ведь немало, правда? Уже не монархическая Российская империя пала, уже совершенно иначе устроенный Союз социалистически настроенных республик распался – оболочка из праведных лозунгов на знаменах не выдержала неправедных протоколов с грифом «Совершенно секретно». То есть много воды утекло. А Пушкин – Пушкин как был почитаем, так читаем и почитаем остался. И Одесса – в тяжелых родах новой государственности – все же не забыла: 1999 год. Пушкину – двести лет. Дата – круглей не бывает.

Город готовится к торжествам, и – зачем отказываться от традиции? – объявляется конкурс на лучшее посвящение. Естественно, в стихах.

Что Вам сказать, мой дорогой Шолом-Алейхем? Если человек собирается писать посвящение в стихах, это значит, что человек считает себя поэтом. Одно уже это, согласитесь, не совсем скромно. Если человек собирается писать посвящение в стихах – кому? – Пушкину, это... Хотя, с другой стороны, если все будут скромничать, то Пушкин может остаться с посвящениями только в прозе. Это не смертельно, хотя (это уже с другой другой стороны) пусть Александр Сергеевич и прозаик тоже, но в первую очередь все-таки поэт, зачем же лишать его удовольствия послушать братьев по перу? Интересно же, как пишут спустя столько лет...

И опять у меня были сомнения, но я опять решился. И я Вам скажу почему.

Вот посмотрите. В первом четверостишии моего посвящения было: *В России я рожден, в Твери. / Возражен, благословясь, в Одессе. / Одесса, право, стоит мессы: / Здесь Пушкин, что ни говори.* То есть я как бы обязан что-то приятное в его адрес предпринять. Как в знак благодарности, что ли. Но одного этого, наверное, мало – мало ли таких, как я? Была еще одна причина.

Во втором четверостишии у меня получилось: *Я толком Вас еще не знал, / Когда на Молдаванке бранной / Меня наш двор за эпиграмму / По-царски Пушкиным прозвал.* Ну и, конечно, сразу же нужно было за такую смелость, или даже наглость, – извиниться, объяснить как-то нужно было. И я, конечно, попробовал и объясниться, и даже подольститься попробовал: *Одесса чтит поэта*

сан, / («Сан» – это ли не комплимент?! Только – истина дороже, от правды уходить не стал.) *Но декламатор из психушки, / Но с Мясоедовской цыган / Курчавый – носят имя Пушкин.*

Должен сказать: я тогда искренне считал, да и сейчас считаю, что Пушкин не должен бы обидеться на все это. Не знаю, как поминали Пушкина в городе в те годы, когда жили в Одессе Вы, но в наши годы можно было услышать такой милый разговор. «Ты уже сделал домашнее задание по арифметике?» – «Нет еще». – «А кто за тебя сделает, Пушкин?» Вот такой разговор. Ну хоть бы задание по письму. Так нет же, и по арифметике тоже... Поэтому и дальше – как бы в пояснение возникших уже отношений: *Одесса – штучка! Поутру / Всё – гладь, а к ночи, глядь, споткнулись... / А Вам Одесса приглянулась. / И Вы пришли ей ко двору. / Еще бы! С властью не в ладу!* Вот ведь в чем родство! Я думаю, Одесса и в Ваше время к власти относилась так... так себе. Ну раз без нее нельзя, так пусть уже будет. У нее, у власти, мол, своя жизнь, а у нас – своя. Да, зарабатываем. Немножко больше, чем в другом месте. Где нет моря. Немножко больше – значит, надо делиться. Надо! Но чтоб ее любить?

Давайте поменяем тему...

Здесь байки до сих пор в ходу, / Как Пушкин, сам себе козак, / Терпеть обиды не дурак, / Остёр – недолго до беды – / Все ж сух выходит из воды.

Кстати, о воде. Мальчишками мы слышали не один анекдот о Пушкине – то есть Александр Сергеевич был в Одессе популярен. Причем анекдоты были привязаны к конкретным местам Одессы. То речь шла о канцелярии губернатора, то о гостинице, в которой Пушкин жил. Рассказывали, как на каком-то балу Пушкин отлучился на улицу, а вернулся с забрызганными штиблетами. Одна барышня язвительно осведомилась: «А что, Пушкин, на улице дождь?» – «Нет, ветер», – деловито удовлетворил ее любопытство Пушкин.

То есть пестрое многолюдье Одессы знало прекрасно, что он известный поэт, но интересен и любим он был прежде всего как человек, необычный, невзрачный вроде и яркий тем не менее. И у меня как-то сама собой пошла его веточка сугубо личная, интимная, которая никого в Одессе никогда не оставляла равно-

душным. *Как Вы, с Пересыпи к таможене / Подошвой города пройду, / На взгорок, встарь пустопорожний, / Стопами Вашими взойду. / Вперед. Тропа. Уступ. Внизу волны шептанье. / Настоянный на травах зной. / В груди томленье упованья / На встречу с милою судьбой...* Вы помните, конечно, его «как ждет любовник молодой минуту верного свиданья». Я как бы просто вернул акцент, который Пушкин тогда как бы уступил вольности святой и дорогим его (и не только его) сердцу друзьям-декабристам.

И всё. Дальше пошел заключительный аккорд, близкий, как я убежден, всем, кто знал и любил Пушкина-поэта, Пушкина-человека. *На Черной речке черный снег / И боль, что Вас так рано нет.*

Я закончил стихотворение и пересчитал строки – перебор! Условия конкурса разрешали только двадцать восемь строк, а у меня на четыре больше! И я ведь понимаю, что правила – это тот стержень, на котором держится любое правосудие. Да, мол, наверное, у вас все правильно, но не на той бумаге, на какой предписано. Предписано! Нарушили! Увольте! И извольте оформить по правилам. Приходите завтра! (А в моем случае – через сто лет.)

Но бывает – осеняет! Меня осенило: нужно первые четыре строки записать как эпитафия. Он, во-первых, как бы сам по себе, а во-вторых – Александр Пушкин для Одессы не Пушкин вообще, а Пушкин одесский. Нет, и вообще тоже, конечно, толковые пушкиноведы и у нас есть, но его тринадцать месяцев в Одессе – это же тринадцать месяцев с одесситами. Кто же, если не мы, мол. Одесса Пушкиным славна. Не только им, но им особо. Я думаю, уважаемый реб Шолом-Алейхем, Вы бы со мной тоже согласились.

Ну а если строгое жюри все же запротестует, то можно ведь без большой потери – потерять эпитафия, и – вот вам ваши двадцать восемь!

Я отправил свое стихотворение, и мне его не вернули. Не вернули – и не вернули, им виднее. А я почувствовал большое облегчение и занимался своими обычными делами, уже не отвлекаясь ни на какие конкурсы. Я свою работу сделал – теперь пусть свою работу сделает жюри.

И оно ее сделало, эту работу, и я, как когда-то на заводском конкурсе, призером не стал. Были опубликованы стихи, которые выиграла конкурс. Хорошие, добротные стихи, мне понравились.

Они бы мне еще больше понравились, если бы были посвящены не Пушкину, а какому-нибудь другому поэту. Когда об умершем поэте говорят, что «Солнце русской поэзии закатилось», какие стихи что могут добавить к этой короткой фразе? Конечно, и Пушкина можно критиковать. Я, например, не очень доволен, как у него «ноябрь уж на дворе», какой-то брюшной ноябрь получился. А то вот сейчас обращают наше внимание, что был он в своих эпиграммах и жёсток, и жесток иной раз, и несправедлив... Так ведь и на солнце пятна бывают... А солнце закатилось... Я, конечно, свое мнение держал при себе, да и сам себе молча задавал вопрос – а что, мол, победу мне надо было присудить, скромнику?

Только, как и на крекинг-заводе, так и здесь, кому-то и мои стихи показались. Зазвонил в нашей квартире телефон – меня спрашивают. Женщина – себя не называет, у нее только Пушкин в голове – приглашает выступить в Зеленом зале Дома ученых (это в бывшем доме Толстых на Сабанеевом мосту, Вы, реб Шолом-Алейхем, должны знать). Приглашает прочитать мои «озорные», как она выразилась, стихи. (Где она там мое озорство усмотрела, я не знаю.) Неожиданно это было, конечно. Конечно, и приятно тоже – вот, мол, не прошли мимо... Но читать в Доме ученых... Это не заводской клуб, где ты всех знаешь... Да и юбилей чей... Не завода, чай...

Я заробел и – отказался. А потом пожалел. Ведь писал, чтоб кто-то прочел. А так – кто-то послушал бы. Но – заробел, и некому было шепнуть «Не робей». Так завершился мой второй конкурс.

И вот вам, пожалуйста, – конкурс на литературную премию имени Вас, многоуважаемый реб Шолом-Алейхем, новое искушение. Виктория считает, что мои замечательные рассказы... Кто она такая, эта Виктория, что считает, что если она так считает, то жюри уважаемого конкурса тоже так посчитает? Она читала мой рассказ своей маме, и мама плакала. И этого достаточно, чтобы назвать рассказ замечательным? А если бы мама смеялась? О Ваших сочинениях, реб Шолом-Алейхем, говорили, что Вы смеетесь сквозь слезы...

Я хочу быть скромным. Я не хочу претендовать на премию. И все-таки я хочу принять предложение Виктории. Не только потому, что не хочу обидеть ее искреннее желание увидеть меня

известным литератором, известным не только ей и ее маме, нет. Я хочу поспорить. Мне известны правила спортивных конкурсов – одна восьмая финала, одна четвертая, одна вторая... Мне интересно посмотреть, как далеко я уйду от старта. Может быть, совсем недалеко. С дистанции сходят и на первом круге тоже...

Но сначала нужно познакомиться с условиями конкурса. И первый мой вопрос – произведения на каком языке будут приниматься на конкурс?

И тут, реб Шолом-Алейхем, я тоже должен объясниться. Вы знаете, что это такое – отношение государства к языкам народов, живущих в этом государстве. Мой дед по матери был сельским кузнецом. Его дети получили образование в хедере на еврейском языке. Но дальше хедера на еврейском языке не учили. А если дальше учили, то на государственном языке Российской империи. А если еще дальше, то учили по пятипроцентной квоте. Да что я Вам рассказываю! Ваше поколение это пережило на собственных судьбах. Но это я к тому, что и украинская нация, которой предписали быть территорией оседлости для евреев, украинская нация, которая как будто у себя дома, тоже, однако, не могла учить своих детей на своем языке. Вы это тоже знаете лучше меня. Вообще-то, это очень интересная тема, и она может увести нас далеко-далеко, так что скажем только, что это не от большого ума: величайшую находку человечества для общения – языки – пытаться запретить, заменить, отменить. Это все равно что сказать: «Чтоб у тебя язык отсох!» – это, скажите, может быть от большого ума? Но, конечно, эта тема не такая простая.

Так вот, война, которую вела Россия при вас (не знаю, как она называлась при вас), при нас называлась Первой мировой. То есть в мире она, конечно, не первая, но как мировая, то – первая. Кто-то, кто первый ее так назвал, видимо, ужаснулся количеству погибших и покалеченных на той войне. И ужаснувшись, произнес это слово – «первая». То ли первая такая ужасная, мол, раньше таких не было, то ли первая, потому что будет вторая, похлеще, – как предчувствие. И если как предчувствие, то предчувствие его не обмануло. Вы ушли в мир иной в шестнадцатом, а через двадцать три года началась Вторая мировая. Как выяснилось здесь много лет спустя, началась эта война не без участия России,

которая тогда была уже не империя, а, как отмечалось выше, дружеский союз братских народов. И на этот раз война, как и при вас, была с Германией, говорящей, понятное дело, на немецком языке. Вторая мировая была поужасней, чем Первая. И это понятно – человечество время не теряло и научилось не только хорошо нефть перерабатывать, но и хорошо убивать людей. «Хорошо убивать» – как это звучит? На любом языке.

Война закончилась под Берлином капитуляцией фашистской Германии (такого слова – «фашизм» – в Ваше время еще не было, правда?). Как я понимаю, акт о капитуляции был составлен не только на русском, английском и французском языках, но и на немецком – для однозначного понимания.

В комнате моей соседки по квартире Марьи Дмитриевны (спустя много лет после этой капитуляции) висел на стене портрет ее сына Сережи, с виду уже не мальчика, но еще и не мужа. Он погиб в эту Великую, как ее называли у нас в Советском Союзе, войну. Еще ее называли Отечественной. Вы не можете знать, реб Шолом-Алейхем, декрета восемнадцатого года «Социалистическое Отечество в опасности», подписанного Лениным, это было уже после вас. И тоже было связано с Германией. Наверное, оттуда, а может, от войны еще 1812 года, с французами, пошло это ответственное слово – Отечественная. Ответили сполна граждане социалистического отечества. Марья Дмитриевна ответила своим сыном.

Их семья жила в Харькове, когда в сорок первом немцы (так тогда говорили) напали на СССР. Когда германские войска подходили к Харькову, Марья Дмитриевна, жена офицера воюющей Красной армии, в страхе за себя и двух своих детей бежала из Харькова в село к дальним родственникам. Там, под оккупацией, дожидались – и дождались! – освобождения. Как близких родственников, встретили солдат-освободителей. В их хате на постой поселились бойцы-разведчики и быстро пришлись по душе и хозяйке хаты, и Марье Дмитриевне, и уж, конечно, детям, особенно семнадцатилетнему Сереже, который от них не отходил. Наши успешно наступали, воинская часть в селе передохнула, пора было уже выступать, тогда и решилась Марья Дмитриевна попросить командира разведчиков взять к себе Сережу – ему все равно вот-вот призываются на фронт, а тут хоть будет она знать,

что попал к хорошим людям. А командир не против, а закон позволяет, а Сережа – что там говорить... Люди действительно были хорошие. И хорошо делали свое трудное и опасное дело. И как близкие близкой написали Марье Дмитриевне душевное письмо, как погиб их товарищ, а ее сын, Сергей Попов. С тех пор если по телевизору вдруг зазвучит немецкая речь, Марья Дмитриевна его выключала или переходила на другой канал. Да, Гёте, да, Гейне...

А ведь у нас война, реб Шолом-Алейхем. И не с немецкоязычным германцем, а с русскоязычной Россией. Которая теперь не империя и не союз, а – федерация. А в ваше время было такое слово – «федерация»? А слово «макулатура»? Макулатура – это ненужная бумага. Устаревшие учебники, например, вместо которых в школах раздают новые. Хотя... В ваше время бумага была не очень в ходу – страна-то была полуграмотная в основном, а местами и неграмотная вовсе. Старьевщики были, это да. А ненужная бумага... Сколько ее могло быть... А у нас... А у нас бумага давно в большом ходу. Читающая страна. Бесплатное и всеобщее образование. Чтобы книга была выгодна в продаже, ее печатали тиражом не меньше трехсот тысяч экземпляров. Вы представляете себе такие тиражи? Хотели сделать лучшую страну в мире. Не получилось. Но кое-что успели. Построили в Одессе крекинг-завод – раньше не было. Обязали читать книжки – раньше не обязывали.

И вот говорят, что хорошо бы собрать книжки на русском языке и сдать их на переплавку, а вырученные деньги передать на алтарь Отечества. Потому что у нас война с русскоязычной Россией. Да, Гёте, да, Гейне... И что? И Пушкин? И Шекспир в русском переводе? И, простите, шеститомник реб Шолом-Алейхема на русском языке тоже? Наверное, нет. Наверное, кто-то будет смотреть. Потому что макулатурщики – они книги не читают, они их взвешивают.

Но Марья Дмитриевна выключала телевизор, когда слышала немецкую речь. Что делать другой, украиномовной Марии, осиротевшей или овдовевшей от руки российского солдата, говорящего на русском языке? Что делать третьей Марии, осиротевшей или овдовевшей и притом отродясь говорящей на хорошем русском языке? Ведь язык – не личная принадлежность германского

или российского солдата. Или германского, или российского фюрера. Что делать?

И я, уважаемый реб Шолом-Алейхем, пишу письмо в комитет по премии Вашего имени с вопросом, могу ли я представить на конкурс книгу, которую напечатали на русском языке. Я написал письмо на украинском языке, который в Российской империи пытались даже вовсе запретить, а в сегодняшней Украине он, как и положено, – официальный язык государства. И получил ответ тоже на украинском языке. Что в условиях проведения конкурса не указаны ограничения на язык произведений, принимаемых к рассмотрению. (То есть между строк как бы упрек – мол, с чего вы это взяли?) И тогда я собрал какие нужно бумаги и приложил к ним три экземпляра книги, которую моя дорогая Виктория еще не видела, но если бы увидела, то наверняка сказала бы, что и эта книга тоже замечательная. Приложил и пошел на почту.

Ближайшее ко мне почтовое отделение находится на Канатной улице угол Троицкой, недалеко от дома, в котором, будучи в Одессе, Вы жили, уважаемый реб Шолом-Алейхем. Вообще-то, Канатная улица изначально связана была с почтовым ведомством. Вы наверняка знаете, что ямская еще почтовая станция находилась в пределах Александровского парка, ныне носящего имя хорошо известного Вам Тараса Григорьевича Шевченко. От станции этой, обязательно пересекая Канатную, выезжали резвые почтовые лошадки на Почтовую же улицу (сейчас она – улица тоже хорошо известного Вам литератора Жуковского), и – прямо, прямо, до Тираспольской дороги – к заставе, к выезду из города. Не знаю, какой дорогой увозили мою книжку на конкурс, – главное, что увезли, и можно больше о конкурсе не хлопотать: я свое дело сделал.

Обо всем можно забыть, только не о войне. У нас война, реб Шолом-Алейхем. Между кем и кем? Между вчерашними союзниками в самой истребительной войне двадцатого века. Союзниками – это даже не то слово. Сейчас на слуху слово «побратимы» – о, оно точно отражает суть человеческих отношений. В той войне, как бы она ни называлась, Великая Отечественная или, вся целиком, Вторая мировая, – те, кто воевал рядом,

становились родными. Откуда бы они на эту войну ни пришли. Конечно, речь о тех, кто воевал, а не прятался. Речь и о тех, кто на оружейных заводах падал у станка в голодном обмороке – всё для фронта, всё для победы! Откуда бы они к этому станку ни приехали. Побратимы. Их породнила необходимость защищать своих детей, своих родителей – свой дом. А сегодня... Что мы имеем сегодня? Сегодня дети и внуки тех побратимов – противники, враги? Понять это противится разум, понять это противится сердце. У нас война.

Сегодня воскресный день, но разве у войны бывают выходные? Привычно воют сирены, на экране телевизора (это как на экране синемаатографа, только дома) внизу красная полоса с предупреждением – «Повітряна тривога». По сигналу воздушной тревоги положено уходить в убежище, но я собираюсь в парк. Специально по парку стрелять не должны, но если и будут... От судьбы не уйдешь.

В парке я отнюдь не один. Тѳлпы не толпы, но народу много. Кого обгоняю, за кем плетусь не спеша. Останавливаюсь у памятника Неизвестному матросу. Чтоб Вы знали, реб Шолом-Алейхем, этот памятник поставили после той большой войны, до которой Вы, к счастью, не дожили. Здесь похоронен матрос, имя которого не удалось установить. Потому у памятника и название такое. Не знаю, это придумка одесситов или романтическое заимствование, да это и неважно. Это место почитаемо. Потому что нет войны, где не было бы без вести пропавших. И нет войны, где каждого погибшего можно было бы на щите принести к родному месту для прощальных похорон. И сюда приносят цветы. Цветы от живых – известным и неизвестным погибшим за святое дело, за право на свободную жизнь.

Над морем туман. Он и здесь, над обрывом, уходящим вниз и вдаль, к Ланжерону. Где-то рядом звучит мелодия, и я не сразу могу понять, откуда она. Пока не вижу сидящего на парапете музыканта. От проходящей мимо цепочки людей отделяется парень и наклоняется положить какую-то денежку уличному (или парковому?) музыканту. Это дело парня – оставлять знак внимания. А дело музыканта – не оставлять своего занятия. Флейта занята – она плачет. И это неестественное сочетание...

Привычно воеет сирена воздушной тревоги. Неторопливо, как будто не слыша монотонного воя, идут и идут пары, группки, резвятся на аллее дети, бесстрашные дети – ведь с ними родители! Устремлен ввысь монумент памятника – ввысь, в небеса, где просторно бессмертным душам, прежним и новым. А здесь, внизу, плачет флейта.

Я уходил из парка. Время как будто сместилось, казалось, что вот-вот опустятся ноябрьские сумерки, и нужно спешить домой. Встречный ветерок наполнял ноздри острым туманом, смешанным с легким тленом опавших листьев. Позавчера освободили Херсон.

В Баятинском переулке на узком тротуаре, чтобы пройти, нужно обойти мусорный бак. А завтра, дорогой реб Шолом-Алейхем, приедет сюда специальная городская машина и опрокинет этот бак в свое гостеприимное чрево. Это вместо знакомых Вам (и доживших до наших дней тоже) огромных каменных смитников в одесских дворах, которые опустошались совсем не так, совсем не так... За сто лет многое здесь изменилось. Многое.

А ночью мне приснился сон.

Сначала я как будто проснулся от боли в сердце. И представил себе, что кардиолог спрашивает меня, где именно болит. И я не знаю, что ему ответить. Я действительно не знаю. Я не знаю устройства своего сердца. Болит где-то в середине. Может, и у всех болит в середине, а вправо или влево только отдает болью? И с этой пустой мыслью я снова засыпаю. И снится мне, будто мы с женой сидим в гостях у тети Бети с дядей Исаком, они перед нами на каком-то возвышении рядом с громадным голубым вроде холодильником с орденами-магнетиками на дверце-груди. И откуда-то сверху, из-за холодильника, под клеймерский оркестр звучит, заполняя все пространство, незнакомая песня на еврейском языке с припевом

Рэйзл-Рэйзл, Рэйзл-Рэйзл,
Трàm-там, тàm-пам, трàm-пам, тàm-пам,
Рэйзл-Рэйзл, Рэйзл-Рэйзл,
Трàm-там, тàm-пам, пàm!

Дядя Исак благодушно улыбается, а тетя Бетя не может удержаться и сидя пританцовывает. Песня заканчивается, и звучат слова «от гымахт а фэрц!». И тогда тетя Бетя – она трясется от хохота и даже что-то проливает на пол, она не знает, что мы давно не слышали еврейской речи, и извиняется за неприличное слово в конце. И я вспоминаю это неприличное слово – оно означает «пук», и мне тоже становится смешно – этим пуком завершился завязтый танец Рэйзл – Розочки.

И я снова проснулся. Прислушался к сердцу – оно не болело. «Спасибо тете Бете, – подумал я. – Не болит!»

А утром, после завтрака, убрав со стола, я включил телевизор и – замер. Музыка, другая музыка, знакомая мелодия, известная песня, но – без слов, только мелодия. На экране – человек в военной форме (сейчас не поймешь, офицер или рядовой). Играет на скрипке. Сосредоточенно, даже как-то отрешенно. Играет известную песню, вряд ли известную Вам тоже, реб Шолом-Алейхем, – «Ніч така місячна...». И первая моя ассоциация – «поющая эскадрилья» из много раз смотренной кинокартины о той войне, из культового фильма (это, реб Шолом-Алейхем, из языка нашего времени). В том кино тоже военная форма, и завтра снова в бой, но – все забыто, потому что поется «Ніч така місячна...». А сейчас передо мной экран телевизора, и слов нет, только мелодия. Льет-ся. Завораживает. Скрипка не нуждается в словах, у нее свой язык. Слова у меня в голове, а там, в студии телеканала... Скрипка – что она хочет? «Вийди, кохана...» Скрипка не просит, она – молит, смиренно молит. Очень молит. Очень сильно молит. О счастье. О любви. О жизни...

Это, видимо, конец интервью. Кончается эфирное время. Ведущая сожалеет. И я сожалею вместе с ней. О чем? И я чувствую, как у меня поползла по щеке слеза – слеза чего? Тоже тихой мольбы? Я прислушался к своему сердцу – оно не болело...

Почему не болело сердце после песенки о Рэйзл, я знаю. Мирная жизнь. Люди веселятся. Они немножко грубоваты, да, но не злобивы, нет, они добры, они просто в хорошем настроении и не прочь пошутить и подшутить, только и всего... Но почему сердце не болело и после скрипача? Ведь завтра в бой, и кто-то из поющей эскадрильи из боя не вернется...

Я понял. «Вийди, коханая...» Это сильнее, чем война. Скрипка не просто молит, она – хоть и без слов – и не сомневается, что все пройдет, все пройдет, и – коханая вийде...

Я пошел к своему компьютеру – продолжить письмо Вам, реб Шолом-Алейхем, о том, что у нас война между Россией, которая напала, и Украиной, которая обороняется. И что несмотря на войну Киев снова объявил конкурс на литературную премию Вашего имени.

Хорошего дня Вам, уважаемый Шолом-Алейхем, хорошего дня Вам и нам. Будем скромными и не станем загадывать на вечность – хорошего дня!

